

Юрий ТОМАШЕВСКИЙ

Когда о ком-то говорят — возвратился, вернулся, значит, человек уходил, был в отлучке. Зощенко никуда не уходил и не отлучался. Его отлучили. От литературы, от многомиллионных читательских масс. За что? За какие грехи?

Был грех: Зощенко имел несчастье родиться сатириком...

Сатирикам везде и во все времена жить было куда как опасней, нежели представителям иных литературных профессий. Ювенал закончил свое земное шествие в ссылке. Всю жизнь подвергавшийся гонениям, Свифт только потому избежал ареста, что днем и ночью народ охранял от властей своего любимца. О Гоголе кричали с пеной у рта, что ему «надо запретить писать», что он «враг России», а когда он умер, одна из газет напечатала: «Да, Гоголь всех смешил! Жалко! Употребить всю жизнь, и такую краткую, на то, чтобы служить обезьяной публике».

Каждый, кто вступает на сатирическое поприще, знает, что современники обижаются на своего сатирика, не понимают или не хотят понять причину и цель его смеха. Люди все могут простить, но только не смех над собой.

А ведь сатирик и в мыслях не держит — смеяться над людьми!

Просто зрение его устроено так, что он видит прежде всего прискорбные явления жизни. Собирая их вместе, он создает некий отрицательный мир, который и подвергает сатирическому воздействию: смехотворная несообразность этого мира и его устоев должна, как ему кажется, оттолкнуть от него современников, и они яснее почувствуют и поймут, что мешает им жить, мешает быть чище и красивее.

Так думает сатирик. Именно здесь причина и цель его смеха. Не злорадное потирание рук при виде подмеченных в жизни всякого рода нелепостей гонит его к столу, а любовь и боль. Любовь к людям, боль за несовершенство их жизни.

Именно таким человеком и был Зощенко.

В 1928 году в «энциклопедии» сатирического журнала «Бегемот» («Бегемотнике») Зощенко напечатал автобиографию. Там было сказано:

«Я не знаю, где я родился. Или в Полтаве, или в Петербурге. В одном документе сказано так, в другом — этак. По-видимому, один из документов — «липа». Который из них липа, угадать трудно, оба сделаны плохо».



Рисунки Геннадия НОВОЖИЛОВА

# ВОЗВРАЩЕНИЕ

Вроде бы это шутка. Но вернул ее Зощенко неспроста. Не для того, чтобы выудить из читателя очередную «порцию смеха». В упоминании Полтавы, как возможного места своего рождения, видел молодой Зощенко для всех пока еще тайный, но для него самого представлявшийся уже явным великий и роковой смысл... Когда кто-то из горячих его поклонников, желая сделать ему приятно, сказал однажды в застольной беседе: «Аверченки у нас нет. Но есть Зощенко, который достойно заменил его», — Михаил Михайлович вышел из-за стола и хлопнул дверью. Когда Федин, опять же намереваясь доставить Зощенко удовольствие, сравнил его с Горбуновым, Михаил Михайлович только и вымолвил «да», а многие годы спустя припомнил Федину его «бестактность». Когда дружественная ему критика, отыскивая в истории литературы питающие его корни, в качестве «душеприказчика» называла Лескова, Зощенко и тут выказал все признаки самого раздраженного недовольства, не видя даже внешней, формальной схожести в этом сравнении...

Но все же был в русской литературе человек, сравнение с которым Зощенко никогда бы не покорило. Близ Полтавы родился он, в Полтавском уездном училище обучался, в одном классе науки постигал — с кем бы вы думали? — с Андреем Зощенко. Андрей — старший брат деда, двоюродный дед. С самим Гоголем два года подряд под одним потолком сидел!

Не будем спешить делать выводы. Зощенко не равнял себя с Гоголем. Он видел лишь общность взглядов на назначение литературы, близость художественной задачи и — в частых случаях — тот же

способ ее разрешения: сатирический. А потому уже в молодые годы подозревал будущую схожесть судьбы.

И не ошибся. Как и Гоголь, он пускается во все тяжкие, ограждая, защищая себя и свое призвание от наскоков критики. Как и Гоголь, сломленный стойким нежеланием окружающих признать необходимость очистительного смеха над самими собой, он начинает тяготиться своей литературно-общественной ролью и, практически покончив с сатирой, обращается к поучительству, к назиданиям, к нравственным проповедям. Как и Гоголь, чем ближе к закату жизни, тем все больше мучается он от болезни, исток которой, конечно же, общий для них обоих: «вредность профессии».

Но на рубеже 20—30-х годов литературные дела у Зощенко обстояли вполне благополучно. Журналы дрались за право печатать его рассказы, книги выходили одна за другой, и даже появилась монография о его творчестве. Он один из самых знаменитых в новой России писателей!

И вот, отдавая должное такому прекрасному настоящему и переполненный верой в еще более прекрасное будущее, в очередной автобиографии Зощенко никак не упоминает Полтаву, а твердой рукой выводит: «Я родился в Ленинграде (в Петербурге)».

Конечно же — в Ленинграде! Ведь именно в Ленинграде родилось новое отношение к людям его профессии... Вы уж простите, Николай Васильевич, что не придется разделить вашу участь!

А в 1953 году, пережив великое надругательство над своим именем, униженный и опозоренный, Зощенко будет составлять последнюю в своей жизни автобиографию. Не нужно быть провидцем, чтобы

угадать, какой город будет назван им как место рождения: Полтава.

Нет, Зощенко не равнял себя с Гоголем. Он сравнивал с его судьбой свою...

Зощенко пришел в литературу на переломе эпох. Старый мир еще не был разрушен, новый — только закладывал первые кирпичи в свой фундамент. Прежде чем сесть, как говорится, за писательский стол, Зощенко успел пройти две войны, перепробовать более десяти «мирных» профессий, исходить в скитаниях по стране сотни дорог и понять, что строительство нового будет трудным и долгим: груз прошлого с его вековыми устоями быта, привычками и представлениями — что хорошо, что плохо, не год и не два будут тяжело давить на людей, сопротивляясь скорым в них переменам.

Времена меняются быстрее и легче, чем люди. Зощенко (как, впрочем, и все остальные жители новой России) не знал, каким оно будет — новое время. Но каким оно быть не должно — знал. Это знание и определило, по сути дела, его профессию.

Годы, проведенные в гуще людей, не прошли для Зощенко даром. Подслушанная в солдатских окопах, а позже на базарных площадях, в трамваях, банях, пивных, на кухнях коммунальных квартир живая народная речь стала речью его литературы, тем самым языком, на котором говорил, думал, а теперь еще и читал своего писателя новый читатель. Зощенко сумел научиться писать для читателя, который существовал реально, — для широких масс, духовно обогранных, обездоленных в социальных условиях прошлой жизни. И это было не просто крупным литературным достижением Зощенко. Это был гражданский подвиг русского интеллигента, чей «врожденный не-



дуг» — большая совесть — властно повелел отдать свой дар на пожизненное служение поднимающемуся из бескультурья народу. Введенная в художественное русло народная языковая стихия не только привлекла к чтению необозримое число новых читателей — она открыла для литературы доселе совершенно ей неизвестный социальный персонаж и тем самым обратила внимание общественности на его жизнь: до жалости мелкую, никчемную и пустяковую, с точки зрения высокого духа, но ведь и такая — она тоже человеческая жизнь!

«Человека жалко» — есть у Зощенко такой рассказ. Эти два слова можно поставить эпиграфом ко всему тому, что он написал. Он как бы посмеивался над кажущейся ничтожностью забот и переживаний своего незадачливого героя. Но горек был этот смех. В обыденной жизни нет ничего ничтожного — все нужно, все важно. И об этом должны поминутно помнить те, от кого зависит простая жизнь простого человека. Помогите человеку!..

Природу и направленность зощенковской сатиры быстро поняли и оценили многие (и очень разные) люди: Ремизов и Воронский, Замятин и Маяковский, Есенин и Мандельштам, а Горький, с первых рассказов Зощенко восхищавшийся его искусством пользоваться «мелким бисером» освоенного им «лексикона», подчеркивал, что его творчество несет в себе высокой заряд «социальной педагогики».

Однако благородную суть дерзаний Зощенко было дано уразуметь далеко не всем. Все смеялись, читая его рассказы и повести, но далеко не все считали необходимым выразить свое удовлетворение присутствием в литературе этого всеми читаемого писателя. Кстати, это присутствие критикой поначалу вообще как бы не замечалось. Она (по словам самого Зощенко) не вставляла его даже «в списки заурядных писателей» — так, юморист, развлекатель почтеннейшей публики. Но, распознав в нем сатирика и забываясь признать в зощенковском герое обыкновенного человека, имя которому миллионы, критика поторопилась, так сказать, упростить положение и всю серьезность поставленных Зощенко проблем свела к примитивному разговору о мещанине и обывателе.

Герой Зощенко — обыватель. Эта «формула» стала гулять из статьи в статью, притом утверждалось, что Зощенко нарочито трагедизирует опасность — высмеиваемые им герои в реальной действительности практически не существуют, ибо новое общество лишено почвы для процветания тех многочисленных нелепостей и уродств социальной жизни, которые имели место в навсегда ушедшем «проклятом прошлом». А если это так, то Зощенко — в лучшем случае — стреляет из пушки по воробьям и является тем самым «ископаемым» обывателем и мещанином, от лица которого он пишет свои «злостные пасквили». Одна из статей называлась «Обывательский набат». Не дав себе труда отделить автора от воображаемого рассказчика, критик обозвал Зощенко «перепуганным обывателем», «который с некоторым злорадством копаются, переворачивает человеческие отбросы и, зло посмеявшись, набрасывает мрачнейшие узоры своего своеобразного зощенковского фольклора».

Эта статья была как сигнал к атаке. Словно толпа на Котофеева, раскачавшего набат в зощенковской повести «Страшная ночь», бросилась критика на писателя: «Крой его, робя! Хватай! Здесь. Сюдый, браты! Сюды загоняй!.. Крой...»

Зощенко писал в эту пору М. Слонимскому: «Чертовски ругают... Невозможно объяснить. Я только сейчас соображаю, за что меня (последний год) ругают — за мещанство! Покрываю и люблюсь мещанством! Эва, дела какие! Черт поberi, ну как разьяснить? Тему путают с автором... В общем, худо, Мишечка! Не забавно. Орут. Орут. Стыдят в чем-то. Чувствуешь себя бандитом и жуликом...»

Несмотря на все возрастающую признательность, доверие и любовь масс к своему писателю, нормативная критика будет стараться посеять раздор в их (писателя и читателя) отношениях, будет зло и несправедливо продолжать приписывать Зощенко обывательский взгляд на вещи и вообще все «грехи» его наивно взыскующих правды и сострадания «рассказчиков-выдвиженцев». И будет спрашивать: «Чей писатель — Михаил Зощенко?»

О повести «Возвращенная молодость» (1933) будет сказано, что присутствующие в ней «идеалистические вывихи» — продукт «неверной идейной базы». Про «Голубую книгу» (1935) будет написано, что «зощенковский рассказчик... умудряется до последней степени ополщить весьма значительные темы и предметы», о которых в свое время писали «Маркс, Энгельс... и другие выдающиеся люди». Публикация повести «Перед восходом солнца» (1943) будет прервана, и в статье, объясняющей причину, по которой дальнейшее ее напечатание решено запретить, будет объявлено, что Зощенко написал произведение, «проникнутое презрением автора к людям», что он «тряпичником бродит... по человеческим помойкам, выискивая, что похуже», «клевета на наш народ, извращая его быт, смакуя сцены, вызывающие глубокое омерзение». И наконец: Зощенко написал «галиматью, нужную лишь врагам нашей Родины».

Нет, как мы видим, Зощенко пока еще не «враг России», каковым когда-то был назван Гоголь. Просто сам того как бы не осознавая, он пока, дескать, лишь дует на мельницу врага. Но, судя по всему, вот-вот додуется...

И вот — август 1946 года. Опубликованный в журнале «Мурзилка» очень смешной, а главное, совершенно невинный детский рассказ «Приключения обезьяны», переизданный затем в трех книгах и уже после напечатанный журналом «Звезда» (кстати, без ведома автора), становится вдруг криминальным, а вместе с ним криминальным становится и все творчество Зощенко.

Опаленный невиданной в истории русской литературы славой писателя, которого знали все — от вчерашнего либеговца до академика, и не уронивший эту славу на протяжении двух десятилетий, в постановлении ЦК ВКП(б) «О журналах «Звезда» и «Ленинград» и в одноименном докладе Жданова, Зощенко будет заклеен как «пошляк», «хулиган» и «подносок литературы», «глумящийся над советскими людьми». Его изгнаны из Союза писателей, и его имя, заполучив статус бранного слова, выпадет из литературного обихода. Многие думали, что он сам тоже «выпал» из жизни. Но он прожил еще двенадцать мучительных лет.

Как-то, размышляя о Гоголе и его судьбе, Зощенко занес в свою записную книжку: «Гоголь ожидал, что его не поймут. Но то, что случилось, превзошло все его ожидания».

Эту запись можно вполне отнести и к самому Зощенко.

Есть писатели, со смертью которых умирает и то, что они написали. Книги таких писателей, случается, сегодня тоже переиздают. Но это не возвращение. Это как бы необходимость: заполняется пустующая строчка в истории литературы и попутно отдается дань памяти тем, чей труд на литературной ниве был не силен, но усерден и честен.

Зощенко именно возвратился. Он не мог не возвратиться. Потому что Зощенко — не музейный писатель, написанное им — не для архивных полок. Время, отображенное в его книгах, ушло в историю, но его герой — человек — не ушел. Не ушли те заботы, хлопоты и волнения, что терзали людей в годы живого присутствия Зощенко в литературе...

Зощенко видел далеко. И потому будущее его книг — далеко. Как жили до наших дней и будут жить еще долго Чичиковы и Хлестаковы, так сегодня живет полной жизнью, без каких-либо признаков усталости и постарения, с виду смешной и несчастный, но тронь его — злобный, безжалостный, беспардонный «зощенковский герой». Конечно, сознавать это грустно.

Но ничего не поделаешь. Человек — организация сложная. Он по природе своей наиболее консервативен из всех одушевленных и неодушевленных предметов, обитающих на земле. С этим необходимо считаться, терпеть и не пороть горячку. И уж, во всяком случае, не спешить обвинять писателей, которые видят человека и окружающую его жизнь не такими, как кому-то хотелось бы. Не спешить обвинять их в клевете, очернительстве, в не любви к своему народу и прочих смертных грехах.

Запретить печатать писателя можно. Но можно ли запретить ту жизнь, которая есть и о которой он пишет?